

Содержание

Чрезвычайная ситуация

Завязка

11

Гармонии Веркмейстера

Перипетии

97

Sermo super sepulchrum

Развязка

403

Течет, но не меняется.

**Чрезвычайная
ситуация**
Завязка

Поскольку поезд, соединявший между собой продрогшие поселения Южного Алфельда от Тисы и почти до Карпат, так и не прибыл, несмотря на путанные объяснения беспомощно околачивающегося у путей железнодорожника и все более твердые обещания начальника станции, время от времени взмыленно выбегающего на перрон (“Опять он куда-то запропастился...” — со злорадной ухмылкой отмахивался путеец), то вместо него был подан состав из двух дряхлых, годящихся только для так называемых экстренных случаев жестких вагонов и дохлого престарелого паровозика 424-й серии, который пускай и на полтора часа позже, чем то предписывал не особенно соблюдавшийся, а на этот импровизированный состав и вовсе не распространявшийся график, но все же отправился, дабы местные жители, принимавшие пропажу тщательно ожидаемого с запада поезда с явным равнодушием и боязливой покорностью, могли все же добраться до своей цели, что находилась километрах в пятидесяти отсюда, в самом конце боковой ветки. Подобные вещи уже не особенно удивляли людей, потому что сложившаяся ситуация, разумеется, сказывалась на транспортном сообщении точно так же, как и на всем остальном: под вопросом оказался привычный порядок вещей, автоматизм самых обыкновенных

действий нарушился под влиянием неостановимого и всепоглощающего хаоса, будущее стало казаться страшным, прошлое — неисповедимым, а ход повседневной жизни — настолько непредсказуемым, что люди смирились с тем, что произойти может все что угодно, что завтра, к примеру, перестанут открываться двери, а пшеница начнет расти вглубь земли, ибо пока что были заметны только симптомы убийственного распада, причина же оставалась непостижимой и недоступной, так что нельзя было и придумать ничего другого, кроме как безоглядно бросаться на то, что еще можно захватить, как люди и сделали в данном случае на деревенской железнодорожной платформе, бросившись на штурм тяжело открывавшихся от мороза дверей в надежде занять по праву им причитающиеся, но количественно ограниченные места. В этой бессмысленной битве (ибо в конце концов мест хватило на всех) пришлось поучаствовать и возвращавшейся из обычной зимней поездки к родне госпоже Пфлаум, которая, после того как ей наконец удалось, растолкав стоявших у нее на пути людей и с неожиданной для ее хрупкой комплекции силой сдержав напиравших сзади, занять место у окна, хотя и против движения поезда, еще долго не могла отличить негодование, вызванное невероятной давкой, от того колеблющегося между яростью и тревогой чувства, что со своим, бесполезным теперь, билетом в вагон первого класса ей придется дышать вонью чесночной колбасы, сивушной палинки и дешевого едкого табака в угрожающем окружении орущих, отрыгивающих “простых крестьян”, мучаясь при этом единственным кардинальным вопросом, возникающим в подобных,

по нынешним временам и вообще-то рискованных, путешествиях, а именно: удастся ли ей добраться до дома? Ее старшие сестры, жившие в полной изоляции и в силу возраста тяжелые на подъем, никогда не простили бы ей, не навести она их, как обычно, в начале зимы, так что на это опасное предприятие она решилась исключительно из-за них, хотя, как и все, понимала, что вокруг нее что-то радикально переменялось и что самым мудрым в таких обстоятельствах было бы не подвергать себя никакому риску. Однако мудро вести себя и трезво судить о том, что может произойти, было отнюдь не просто, ибо казалось, будто в самом составе воздуха, вечном и неизменном, внезапно произошел какой-то фундаментальный, однако не обнаруживаемый сдвиг, а работавший до сих пор с непостижимой безукоризненностью анонимный принцип, который, как принято говорить, движет миром и единственным наблюдаемым проявлением которого как раз и является этот мир, вдруг как бы начал утрачивать силу, и именно из-за этого даже мучительное сознание несомненной опасности было не столь ужасным, как всеобщее предчувствие того, что в ближайшее время может произойти что угодно, и именно это “что угодно”, это ощущение ослабления невидимого закона тревожило людей все больше и гораздо сильнее каких бы то ни было личных несчастий, лишая их возможности хладнокровно оценивать факты. Разобраться во все более устрашающих и в последние месяцы все более частых чрезвычайных событиях было невозможно не только потому, что новости, слухи, сплетни и личные впечатления никак не вязались друг с другом (к примеру сказать,

очень трудно было установить какую-то рациональную связь между необычно рано, с наступлением ноября, ударившими морозами, загадочными семейными трагедиями, следующими одна за другой железнодорожными авариями и доходящими из далекой столицы тревожными слухами о множасьихся детских бандах и осквернениях памятников), но также и потому, что сама по себе ни одна из таких новостей уже ничего не значила, ибо казалось, что все это просто предвестия того, что все большее число людей называло “надвигающейся катастрофой”. Госпожа Пфлаум даже слышала, что в народе заговорили о необычных изменениях в поведении животных, и хотя вытекающие отсюда предположения о дальнейшем ходе событий можно было пока что отбросить как безответственные страшилки, было ясно, что в отличие от тех, кому этот кромешный хаос был, по убеждению госпожи Пфлаум, только на руку, люди порядочные не осмелятся и нос высунуть на улицу, ведь там, где “ни с того ни с сего!” пропадают вдруг поезда, продолжала она свои размышления, “не будут считаться ни с чем”. Так что она приготовилась к тому, что в сравнении с путешествием туда, совершенным под некоторой защитой билета в вагон первого класса, путь домой будет вовсе не столь комфортным, ведь на этой “кошмарной развалине”, думала она нервно, может произойти даже самое страшное, и поэтому госпожа Пфлаум — которая больше всего хотела бы стать сейчас невидимкой — сидела в мало-помалу утихавшем гвалте, вызванном борьбой за места, с выпрямленной спиной, по-девчоночьи сдвинув колени, с холодным и несколько даже презрительным выраже-

нием лица, и пока она напряженно разглядывала в оконном стекле размытые отражения зловещих лиц, ее чувства металась между отчаянием и тоской, ибо она то думала о пугающем расстоянии, еще отделявшем ее от оставленного дома, то вспоминала его уют: милые чаепития в обществе госпожи Мадаи и госпожи Нусбек, их былые прогулки по воскресеньям под развесистыми деревьями Монастырской аллеи и, наконец, этот светлый благословенный порядок в доме с его мягкими ковриками и изящной мебелью, ухоженными цветами и славными безделушками, порядок, который, как она понимала, был островком в океане непредсказуемости, когда те чаепития и прогулки остались только в воспоминаниях и единственным прибежищем и спасением для таких вот женщин, расположенных проводить свои дни в мире и спокойствии, был их дом. С недоумением и даже с некоторым презрением, смешанным с завистью, наблюдала она за тем, как шумные попутчики — с виду неотесанные обитатели окрестных хуторов и сел — быстро приспособивались даже к таким стесненным обстоятельствам: вокруг нее, так, словно ничего особенного не случилось, зашуршали промасленные свертки с провизией, зачпокали пробки и посыпались на замызганный пол пивные крышки, и из разных концов послышалось “оскорбляющее любого, кто обладает чувством прекрасного”, но, как она полагала, “совершенно обычное среди простых людей” чавканье; наискосок от нее четверо самых шумных уже затеяли карточную игру, и только она в этом все нарастающем человеческом гуле сидела на подстеленной под шубу газете по-прежнему напряженная, молчаливая, реши-

тельно отвернувшись к окну и так обреченно, с упрямой недоверчивостью прижимала к груди ридикюль с фермуарной застежкой, что не сразу заметила, как паровоз впереди состава, прорезав двумя красными лучами мрак морозного зимнего вечера, неуверенно тронулся с места. Но радостный гул, в котором она, хотя тоже вздохнула, не принимала участия, и следовавший взрыв всеобщего оживления оттого, что после долгого ожидания на морозе с ними что-то наконец происходит, продолжались недолго, потому что состав, отъехав от погрузившейся в тишину деревенской платформы не больше ста метров, несколько раз неуклюже дернулся и, как будто внезапно кто-то отменил приказ о его отправлении, снова остановился; раздавшиеся при этом вопли разочарования вскоре сменились озадаченно-раздраженным смехом, а когда они поняли, что теперь так и будет, что придется смириться с тем, что их путешествие — по всей видимости, в результате хаоса, вызванного их же, отправленным вне всякого расписания поездом, — будет тоскливой чередой постоянных рывков и остановок, то впали в какую-то радостную бесчувственность, в то тягостное опьянение вынужденного безразличия, когда в попытках освободиться от страха перед реальными потрясениями человек объясняет неконтролируемую анархию происходящего чьими-то оплошностями, на раздражающее повторение которых можно отвечать только пошлым глумлением. Несмотря на то что похабный тон непрекращающихся шуточек (“Вот бы я в таком темпе супружницу ублажал!..”), разумеется, возмущал ее тонкие чувства, поток этих лихих, одна отборней другой, скабрзностей, посте-

пенно, впрочем, мельчавший, в какой-то мере раскрепощающе действовал и на госпожу Пфлаум, которая иногда, услышав особенно меткое замечание — неизменно сопровождаемое взрывами хохота, тоже по-своему заразительного, — и сама не могла полностью подавить застенчивую улыбку. Осторожно, украдкой она временами отваживалась теперь даже бросать молниеносные взгляды, правда, не на ближайших соседей, а на сидевших поодаль, и в этой нервной атмосфере шутовского веселья — когда мужчины, хлопающие себя по ляжкам, и неопределенного возраста бабы, смеющиеся во весь рот, хотя по-прежнему и пугали, но уже не казались такими страшными, как поначалу, — она пыталась унять растревоженное воображение и убедить себя в том, что не следует ей придавать значения скрытым угрозам, исходившим, как ей казалось, от этой злобной оравы отвратительных монстров, и что если она в своей ледяной неприютности поддастся недобрым предчувствиям, то домой доберется — коль вообще доберется — совершенно измученной этим состоянием неустанной бдительности. По правде сказать, такие надежды на счастливый исход не имели под собой решительно никаких оснований, но госпожа Пфлаум уже не могла устоять перед ложными соблазнами оптимизма: хотя поезд в ожидании сигнала к отправлению опять уже долгое время стоял в чистом поле, она успокаивала себя, мол, “все-таки продвигаемся помаленьку”, а еще нервное нетерпение, вызываемое все более частым скрежетом тормозов и последующими бессмысленными стоянками, ослаблялось тем, что в приятном тепле от включенного, по-видимому, еще перед отправлением отоп-

ления она наконец-то смогла выпростаться из шубы и уже не боялась, что непременно простудится по прибытии, выйдя на пронизывающий ледяной ветер. Поправив за спиной складки шубы, она опустила себе на колени искусственного меха горжетку, после чего обхватила руками раздувшийся от втиснутого в него шерстяного шарфа ридикюль и, сохраняя прямую осанку, снова глянула на окно — и тут, в зеркале грязного стекла, вдруг обнаружила, что сидящий напротив нее “необычно молчаливый”, потягивающий вонючую палинку небритый мужчина (“Вождедено!!”) пялится на ее — теперь, под прикрытием только блузки и легкого жакета, возможно, слишком заметную — крепкую грудь. “Так и знала!” — стремительно отвернулась она и, хотя всю ее охватил жар, сделала вид, будто ничего не заметила. В течение долгих минут она неподвижно сидела, уставившись в законную темноту, а затем, когда ей не удалось на основе секундного впечатления вспомнить внешность мужчины (память сохранила только небритое лицо, “какое-то грязное” драповое пальто и тот неприятный и откровенно бесстыжий взгляд, который еще потрясет ее..), она очень медленно — полагая, что уже ничем не рискует — отвела взгляд от стекла, но почти тут же отдернула голову, потому что не просто заметила, что “этот тип” продолжает “свое непотребство”, но и встретилась с ним глазами. От скованной позы ее плечи, шея, затылок одеревенели, но теперь она даже при желании не смогла бы смотреть куда-то в другое место, ибо чувствовала, что, куда бы ни повернулась, ею “тотчас же овладел бы” этот жуткий немигающий взгляд, который, за исключением огра-

ниченного темного пятна окна, беспрепятственно властвовал во всех уголках вагона. “Как давно он глязет?” — резанул госпожу Пфлаум вопрос, и от мысли, что гнусно ощупывающее ее мужское внимание, возможно, “преследовало ее” с того времени, когда поезд еще только отошел от станции, его взгляд, понятый ею в первое же мгновение, показался еще более ужасающим. В этой паре глаз, в их “липучей похоти”, видна была некая пресыщенность, “даже хуже того, — содрогнулась она, — они как бы пылают холодным презрением!” Хотя госпожа Пфлаум “вообще-то” не считала себя старухой, она все же понимала, что была уже не в том возрасте, когда такое — вульгарное, прямо скажем — внимание к ней могло считаться естественным, и потому наряду с отвращением к этому мужчине (ибо как еще можно отнестись к человеку, питающему страсть к пожилым дамам?) ее охватил испуг: а вдруг этот провонявший сивухой мерзавец только к тому и стремится, чтобы унижить ее, осмеять, опозорить и затем отшвырнуть “как тряпку”. Тут поезд, раз-другой резко дернувшись, припустил быстрее, колеса яростно застучали по рельсам, и ею овладело давно забытое, смутное чувство стыда, вспыхнувшее оттого, что ее полные тяжелые груди... жгуче заныли... под все еще устремленным на нее наглым бесцеремонным взглядом. Ее руки, которыми можно было бы по крайней мере прикрыть их, отказывались подчиняться: словно связанная, не имеющая возможности что-то сделать со своей наготой, она чувствовала себя все более беззащитной, все более обнаженной и в бессилии понимала, что чем больше она стремилась... скрыть... свои женские прелести, тем сильнее они

бросалась в глаза. Тут картежники с громкими воплями завершили очередную партию, и в этом взрыве эмоций, нарушившем парализующую монотонность враждебного гула — и словно бы давшем толчок к раскрепощению ее скованной воли, — госпоже Пфлаум наверняка удалось бы преодолеть несчастное оцепенение, не случись в это время нечто еще более неприятное, будто нарочно, в отчаянии подумала госпожа Пфлаум, чтобы увенчать ее муки. Дело в том, что, когда она в инстинктивном смущении — как бы невольно сопротивляясь — осторожно нагнула голову, чтобы как-то прикрыть свои груди, и спина ее сгорбилась, а плечи подались вперед, то, к ее ужасу, по-видимому, из-за необычной позы, у нее на спине расстегнулся бюстгальтер. Ошеломленная, она подняла лицо и, кажется, даже не удивилась, заметив, что ее визави все так же пристально пялится на нее; в этот момент мужчина — будто зная, какой с ней случился конфуз — заговорщицки подмигнул ей. Госпожа Пфлаум догадывалась, что может дальше произойти, но это, можно сказать, роковое бедствие настолько смутило ее, что она не могла шелохнуться и под беспорядочный грохот все ускоряющегося состава вынуждена была, так же беспомощно, с пылающим от стыда лицом, терпеливо сносить взгляд злорадных и вместе с тем высокомерно самоуверенных глаз, прикованных к ее грудям, освободившимся из плена бюстгальтера и весело подпрыгивающим в такт сотрясающемуся вагону. Она не осмелилась снова поднять глаза, но и без этого знала: сейчас за ее мучениями наблюдает уже не только этот попутчик, но и все “отвратительное мужичье”; она так и видела, как к ней поворачиваются

уродливые, алчно ухмыляющиеся рожи... и эта уни-
зительная пытка, наверное, продолжалась бы без
конца, если бы в их вагон, вынырнув из хвостового,
не вошел прыщавый, с мальчишеским лицом молодой
кондуктор; его звонкий ломающийся голос (“Приго-
товьте билетики!”) наконец-то освободил ее из кап-
кана неловкости, она выхватила из ридикюля билет
и сложила руки под грудь. Поезд снова остано-
вился, на этот раз где положено, и когда она — чтобы
не приходилось разглядывать и правда пугающие
лица попутчиков — машинально прочитала над слабо
освещенной платформой название деревни, то едва
не вскрикнула облегченно, ибо из хорошо ей извест-
ного расписания, которое перед каждой поездкой
она, тем не менее, тщательно изучала, госпожа
Пфлаум знала, что через несколько минут они добе-
рут до областного центра, где она (“Неприменно
сойдет! Сойдет!” — уверяла она себя) наверняка смо-
жет освободиться от своего преследователя. С судорож-
ным волнением наблюдала она за кондуктором,
приближавшимся слишком медленно из-за града на-
смешливых вопросов относительно опоздания, и хотя
она собиралась сразу, едва он дойдет до нее, попро-
сить о помощи, вид мальчишки, напуганного галдев-
шими вокруг него крестьянами, настолько не соответ-
ствовал образу официального лица, от которого
можно ждать защиты, что, когда он остановился ря-
дом, госпожа Пфлаум в замешательстве смогла лишь
спросить, где находится туалет. “Как где? — нервно
откликнулся юноша и прокомпостировал ее билет. —
Где обычно. Один в начале, другой в конце вагона”. —
“Да, конечно!” — с виноватым жестом пробормотала

она, тут же вскочила и, прижимая к себе ридикюль, швыряемая из стороны в сторону, так как поезд в эту минуту тронулся, направилась по проходу в конец вагона, и к тому времени, когда спохватилась, что оставила свою шубу на крючке у окна, она, тяжело дыша, стояла уже в загаженном туалете, привалившись спиной к запертой изнутри двери. Она знала, что действовать нужно быстро, и все же ей понадобилось не меньше минуты, чтобы отбросить мысль о необходимости кинуться назад (спасать дорогую шубу!) и собраться с силами: с трудом удерживаясь на ногах в непрестанно болтавшемся поезде, она быстро сняла жакет, вынырнула из блузки и, зажав между колен ридикюль, блузку и жакет, задрала до шеи розовую комбинацию. Дрожащими в нервной спешке руками она спустила бретельки, перевернула бюстгальтер и, увидев, что застежка (“слава богу!”) цела, облегченно вздохнула; застегнув на себе бюстгальтер, она принялась впопыхах одеваться, когда у нее за спиной, снаружи, кто-то осторожно, однако достаточно громко постучал в дверь. Было в этом стуке нечто, некий оттенок бесцеремонности, что понятным образом — в особенности в свете всего, что она только что пережила — напугало ее, но затем, подумав, что страх этот все же не более чем плод разыгравшейся фантазии, она попросту возмутилась тем, что кто-то ее торопит; а потому, продолжая прерванное движение, бросила беглый взгляд в замызанное зеркало и уже потянулась было к ручке двери, собираясь выйти, когда нетерпеливый стук повторился и немного спустя чей-то голос сказал: “Это я”. Она в страхе отдернула руку, и в момент, когда до нее дошло, кто это мог быть, даже